

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ЛУНА

Зинаида Гиппиус

Луна

«Public Domain»

1898

Гиппиус З. Н.

Луна / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1898

«Желтовато-красное, теплое солнце уходило. Его свет ложился теперь только на верхушки зданий, окружающих уютную, тесную площадь св. Марка в Венеции. Внизу была уже свежая тень, только в правом углу, у собора, через прилегающую к этой стороне Пьяцетту, врвался низкий сноп лучей. Камни Пьяцетты были облиты этими лучами, и дальше, за нею, горела воздушная вода Большого Канала. Мартовским предзакатным холодком веяло от бледноватых небес. Они были очень чисты, только на востоке, розовой облачной тенью, полуневидный, гнулся серп молодого месяца...»

© Гиппиус З. Н., 1898

© Public Domain, 1898

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Зинаида Гиппиус

Луна

I

Желтовато-красное, теплое солнце уходило. Его свет ложился теперь только на верхушки зданий, окружающих уютную, тесную площадь св. Марка в Венеции. Внизу была уже свежая тень, только в правом углу, у собора, через прилегающую к этой стороне Пьяцетту, врывался низкий сноп лучей. Камни Пьяцетты были облиты этими лучами, и дальше, за нею, горела воздушная вода Большого Канала. Мартовским предзакатным холодком веяло от бледноватых небес. Они были очень чисты, только на востоке, розовой облачной тенью, полунеvidный, гнулся серп молодого месяца.

Площадь была полна людей. Посередине, на возвышении, играл оркестр. Музыканты были в красных одеждах с золотом. Звуки, сдавленные стенами уютной площади, рождались слишком громкими. Но они шли вверх и, вырвавшись на волю, улетали под самое небо, чистые и нежные. Когда замолкал оркестр – слышался говор, шелест людских шагов и живое трепетанье и свист голубиных крыльев в остывающем воздухе.

Из кафе вынесли столики. Их желтоватые ряды тянулись почти по всей правой стороне площади. Сильно пахло фиалками, темные пучки которых продавали надоедливые и некрасивые женщины. Площадь походила на большую, бальную залу, только более прекрасную, чем всякая бальная зала, потому что над нею вместо потолка были небеса.

За одним из столиков, перед неуклюжим чайным прибором, сидел Степан Маркович Вальцев. Он сел спиной к собору, к Пьяцетте и к уже тающим солнечным лучам. Так ему лучше была видна направо белая черта молодого месяца. И он поднимал глаза постоянно, стараясь уловить первый блеск нежного серпа.

Вальцев был еще далеко не старый человек – лет тридцати пяти-шести. Но в волосах его, волнистых, мягких и легких даже на взгляд, – сильно проглядывала седина. Он снял шляпу и провел по лбу рукой с очень длинными, худыми пальцами. Сам он весь казался слишком худым, почти костлявым, при высоком росте. Он слегка горбился в плечах, и серая одежда его, удобно и хорошо сшитая, висела на нем чересчур свободно.

Прищуривав близорукие глаза, очень красивые, светлые, под густыми черными бровями, Вальцев всматривался теперь в одного человека. Этот человек сидел впереди Вальцева, спиной к нему, тоже за столиком, и спина казалась Степану Марковичу необыкновенно знакомой. Он даже чувствовал, как у него, где-то за сознанием, толпятся, стекаются воспоминания, связанные с этим коренастым человеком. Он не толст, но крепок; короткая, молодая шея над голубоватым пальто кажется еще краснее от нежного цвета этого пальто, черные, крутые завитки волос выбиваются из-под шляпы... Но что-то мешало Вальцеву увидеть свои воспоминания, которые он только ощущал, осязал, как слепой. Они тут, он чувствует их прикосновение, их движение – и не понимает, не видит их, потому что нет света. Это было так мучительно, что Вальцев прикрыл глаза рукою, стараясь забыть, не смотреть.

– Все равно, я не могу видеть теперь знакомого человека... Это отлично, если мы с ним друг друга не узнаем.

Но он опять взглянул на него и, уловив особенное движение плечами, тоже страшно знакомое, сделал последнее невероятное усилие вспомнить. И мрак разорвался. Вальцев увидел это коренастое тело облеченным, вместо новенького пальто, в серую студенческую тужурку, над крутыми кудрями синий околыш форменной фуражки... Боже мой! Это Фо-мушка. Фомушка, глуповатый и нагловатый студент, вечно кривляющийся, с хохотом и паясниче-

ством... И воспоминания, теперь яркие, светлые, заговорили с ним тысячью голосов, спеша и перебивая друг друга. Прошлое лето... И года еще нет, Фомушка приезжал на полтора месяца в усадьбу, где жил тогда и Степан Маркович. Ведь он, Фомушка, приходится как-то двоюродным племянником или кузеном ей... Елене-Степану Марковичу стало больно физической болью. Он невольно сжал зубы и постучал ложечкой слишком громко, торопясь уйти. Он даже и думать не хотел, что Фомушка подойдет к нему и заговорит, и скажет что-нибудь такое... Не надо! не надо никаких нитей, никаких вестей извне. Все там, в темноте сердца, – живое и великое, но оно замкнуто. Нельзя трогать.

Он хотел встать, не дождавшись сдачи, но в то же мгновение увидел, что уже поздно. Фомушка встал раньше него, обернулся, заметил Вальцева, узнал и теперь подходил к Ийму, развязно улыбаясь. Кожа на его красных щеках слегка лоснилась.

Вальцев почувствовал, как волнение его упало, и в следующую секунду он был очень спокоен и очень покорен.

– Степан Маркович! Соотечественник любезный! Какими судьбами? – начал распевчато Фомушка, с размахом откидывая руку с широкой ладонью прежде, чем протянуть ее Вальцеву. – Вот не чаял, не гадал! Сижу тут с компанией, с новоиспеченными приятелями – итальяншишки какие-то завалыщие; ну, да, благо, объяснения у меня с ними короткие – гляди, говорят, какой! Я глядь-поглядь – ан это землячок, Степан Маркович распеуважаемый! Вот так суп-ризец!

Фомушка ломался, разыгрывая теперь купеческого сынка из не очень полированных. Он громко захохотал, открыв темный рот и показывая уже дурные зубы. Заметив, что Вальцев сжал брови, он прибавил:

– Вы, голубчик, уже очень нежны. Сейчас вас и коробит. Экий народ воздушный. Шутка – доброе дело. С шутки-то вон меня как расперло. А вы-то, батюшки мои! Зелень зеленью! Да что это с вами? Больны, что ли?

Тонкое лицо Вальцева со впавшими щеками действительно было очень бледно, с желтой тенью на висках, как после острой болезни. Только губы его слегка выдающегося рта краснели из-под опущенных усов свежо и молодо. И это было даже неприятно.

– Нет, – ответил Вальцев, – ничего, я здоров теперь. В Вене прихворнул...

– Зачем вас сюда занесло-то? Или опять за старое, концертики да симфонии сочинять, вдохновения ищите?

– Нет, что вы, – даже испугался Вальцев. – Это я уж больше десяти лет, как бросил. Грехи юности...

– Так, значит, живете? Русский барин, проживающий в Италии доходы с новгородского имения?

– Вы лучше скажите, как вы-то здесь очутились? – спросил Вальцев.

Фомушка, который давно расположился рядом, на свободном стуле, вдруг с размаху хлопнул себя по лбу. Две проходившие англичанки вздрогнули и в ужасе отвернулись. Оркестр играл что-то тихое и тягучее.

– Экий я облом! – заявил Фомушка. – Мозги с итальяншишками совсем замутились. Как это я вам раньше-то не сказал? Ведь это, собственно, удивления достойно, что я вас здесь встретил. Ведь у нас какая комиссия-то вышла! С сестрицами я здесь.

Вальцев вздрогнул. Он ждал другого, но и то, что он услышал, ударило его. Через секунду испуг неожиданности превратился в тихую, нежную жалость, в чувство, которое он когда-то уже испытывал...

– Поликсена Дмитриевна? – начал он вопросительно.

– Да, и Поликсена, и Меричка... В Меричке-то все дело. И Фомушка многозначительно сжал губы, стараясь изобразить загадочность.

– Что такое? – нетерпеливо спросил Вальцев.

– Оторвали брата от занятий, от экзаменов, – жалобно начал Фомушка. – Вези их за границу! И добро бы Поликсена маленькая была, слава Богу, тридцать седьмой годок идет, не подросточек! Нянчится с Мери, как с куклой. У Мери, видите ли, чахотка, или сухотка, или нервоз, или невроз – шут их разберет! Меричка тает, умирает, ее нужно в теплые края тащить! И знаем мы...

– Мери, в самом деле, серьезно больна? – спросил, перебивая его кривлянья, Вальцев.

– Говорю же вам, что не разберешь! Бледна она, как тень, насквозь светится, и лежит все, ослабела... Да кто их знает, барышень анемичных. Сегодня – «ах!», а завтра танцевать готова до утра. Поликсена дрожит, в Берлине знаменитостям ее показывала. Пугала меня потом, будто они Меричке шесть недель сроку дают... Да не верю я. Эх, бабье! Никогда ничего толком не узнаешь!

Он махнул рукой. В голосе его послышалось что-то искреннее.

Но вдруг, пристально взглянув в отуманившееся лицо Степана Марковича, Фомушка подвинул стул, фамильярно положил руку на плечо Вальцева, нарочно сделал идиотские глаза и, с коротким и таинственным смешком, спросил его вполголоса:

– А что, землячок... слышали мы, будто Меричка очень влюбимшись в одного жестокого кавалера и через свою любовь погибнуть должна... Ась? Как вы полагаете? Вероятно ли подобное происшествие в наш прозаический и ясный девятнадцатый век? Мы слышали, кой-что по скудоумию нашему смекаем, да на веру не принимаем.

– Перестаньте ломаться, Фомушка, – сухо, со строгостью проговорил Вальцев и встал. – Прощайте, мне надо идти.

– Ого-го! Вот вы уж опять «shoking»¹ как эти англичане проклятые. Нежны больно, батюшка. На то я и Фомушка-дурачок, чтобы мне все позволено было сказать. А вы не шокируетесь. Вот такие апосталы, как вы, всякую правду должны, не сморгнув, выслушивать. А вы уж сейчас эдак гримаску, и с гордостью – отметаю, мол, отметаю! Вы еще Фомушкину деликатность должны ценить, потому мало ли он что знает, а никаких ни намеков, ни вопросов, ни-ни!

– Прощайте, холодно, я иду домой, – опять повторил Вальцев.

Он надвинул шляпу, взглянул вверх, направо, где среди посиневшего неба уже чуть-чуть засеребрился юный, розоватый месяц, и пошел было прочь.

– Послушайте, послушайте, – закричал ему вслед Фомушка. – Вы что ж, зайдете к нам-то? Мы в «Luna», вот сейчас, здесь направо.

– В «Luna»? – переспросил Вальцев.

– Ну, да. Зайдите же. Поликсена мне не простит. Послушайте! Да вы знали, что ли, что мы здесь? Э, черт вас разберет... Для чего вы, собственно, в Венецию-то приехали?

Вальцев приостановился, взглянул на Фомушку, усмехнулся и промолвил:

– Сказать вам правду, для чего приехал? Только вы не поймете, а я объяснять не буду.

– Да говорите же, ну вас!

– Я приехал для луны. А теперь, право, прощайте. Я тороплюсь.

Он решительно двинулся, но Фомушка схватил его за пальто.

– Послушайте, да вы смеетесь надо мной? Для какой луны? Как это понять? Что это, аллегория? Эмблема? Мы в «Луна», и вы для луны?

У Вальцева болезненно сжались брови и все лицо приняло страдальческое выражение.

– Нет, нет, никакой тут нет аллегии. Это так... вышло. Видите, как с вами трудно. Да бросим это. Я для настоящей луны приехал, но вам, конечно, этого не следовало говорить. И ничего я не знал. А завтра, если так, уеду. Все равно. Прощайте.

¹ потрясены, шокированы (англ.).

Он вырвал свое пальто из рук Фомушки и быстро зашагал по Пьяцетте. Фомушка с открытым ртом смотрел вслед его высокой, слегка сутуловатой, удаляющейся фигуре. Он ничего не понимал.

А с Пьяццы неслись медленные звуки последнего марша и уходили в небеса, которые сделались черно-синими, высокими и торжественными.

II

После позднего обеда хотя и за отдельным столиком, но в той же шумной столовой отеля, где сверкал и гудел табльдот, – Вальцев поднялся в третий этаж, к себе. Он не был богат, но к деньгам очень беспечен, не швырял их, но искренно не ценил. И если выбирал себе какую-нибудь вещь или жилище, то любил, чтобы все ему приходилось по вкусу. Приспособлялся он очень плохо, в не нравящемся ему почему-нибудь месте долго страдал, терял сон и, наконец, решался уступить себе и уехать или переехать.

Здесь ему посчастливилось найти помещение, сразу ему приятное. Он даже не спросил, сколько оно стоит, а стоило оно наверно очень дорого. Было две комнаты. Одна – громадная, удлиненная, с четырьмя окнами на широкой стороне, с двумя на узкой и с крытым балконом на углу. Вся комната была угловая и фасадом, четырьмя окнами, выходила на Большой Канал, а двумя боковыми – в узенький водяной переулочек, всегда тенистый. Оттуда веяло душной сыростью. В переулочек же смотрели и окна прилегающей маленькой спальни. Вальцев, впрочем, ее не любил.

Стеклянная люстра висела на потолке, такая вся нежная и прозрачная, что, казалось, она ничего не весит. В обоих концах продолговатой комнаты было два больших зеркала, тоже со стеклянными, узорными рамами. Зеркала нескончаемо углубляли комнату, повторяя каждое в себе и ее, и ее повторение в противоположном зеркале, и опять обратно. Эти зеркала и понравились Степану Марковичу. Степан Маркович боялся одиночества. Он ничего так не боялся, как одиночества, а между тем он всегда, с самого раннего возраста, жил в одиночестве, незаметно привязался к нему, привык, точно к родному человеку, и любил его, – любил и боялся вместе. Каждый вечер, возвращаясь от обеда, он ходил вот так, по своей длинноватой комнате, устланной темным и толстым ковром. В те минуты, когда одиночество особенно пугало и давило Вальцева – он любил вдруг увидеть собственное отражение в зеркале, в реке, даже в окне дома или магазина: ему сейчас же становилось легче, он сам не знал, почему. И теперь, здесь, в тихий вечерний час, ему нравилось ходить так, от одной глубины к другой. Ему навстречу двигалось его отражение, его собственная фигура, но он засматривал дальше – и видел другую фигуру, тоже свою, другое отражение, меньшее, которое в то самое время удалялось. Он знал, что это обман, но ему нравилось двигаться мерно и правильно между этими, так же мерно и верно двигающимися, призраками. Ему меньше казалось, что он один.

Степан Маркович не солгал Фомушке, сказав, что он приехал в Венецию для луны. В середине января он был в Вене, оттуда через несколько дней собирался выехать в Палермо, когда получилось, то ужасное письмо. Письмо это не перевернуло, не переделало его душу только потому, что над ней уже всякая жизненная темнота была безвластна. Но письмо оглушило его, заставило страдать горячо и остро, не размышляя. Он не уехал из Вены, он почти не замечал, где он живет, и дни, однообразные, пустынные, полные одним ощущением боли, – летели, как ветер. Он опомнился, когда ему стало гораздо легче. И не то, что забылось, а как-то улеглось, все на свои прежние места, совсем как раньше. Он взял письмо и перечитал почти спокойно. Елена сообщала ему, очень грубо, до естественности грубо, чтобы он ее не ждал в Палермо, что приехать она не может, да и не хочет. Что муж, вероятно, поедет за границу, в Париж, но она остается в Москве, где ей очень хорошо. Он, Вальцев, ее утомил своей серьезностью, да и не чувствует она к нему ничего решительно, так что лучше всего расстаться, порвать всякие отношения. Были даже злые и неумные намеки, что какие-то новые знакомства привязывают ее к Москве... Вообще, все письмо было неумное, нехорошее.

Вальцев любил Елену уже несколько лет. Высокая, угловатая, худая, с тяжким узлом красновато-черных волос, с неожиданно светлыми, большими, бесцветными глазами на смуглом лице, – они казались пустыми, ее глаза, – Елена понравилась Вальцеву. В ней была та

ложная загадочность, которую находят в женщинах. Сначала она ему понравилась, потом он ее полюбил. И когда полюбил – она перестала ему нравиться. То есть он перестал думать – нравится ли она ему. Он открыл в собственной душе что-то такое глубокое и сильное, чему удивлялся. Точно в темной комнате зажгли огонь. Он смотрел и на огонь, и на все кругом, что ему стало видно от огня.

Елена была несчастлива с мужем и не любила его. Он тоже не любил ее, вечно изменял, даже не раз покидал ее. Но у нее было упорное решение – каприз или гордость – остаться ему верной. Вальцев знал – и покорялся. Она знала о его любви и мучила его. Так шли годы. Вероятно, Вальцев ей надоел, или она серьезно увлеклась кем-нибудь, или просто это было неизбежно рано или поздно при ее характере, но Степан Маркович получил в Вене письмо, которым она резко и холодно обрывала отношения.

То, что в письме были какие-то намеки с бессмысленным расчетом все-таки возбудить ревность – казалось уже совсем мелким. Но Степан Маркович ничем не оскорбился. Ну, пусть она дрянная и пошлая женщина. Это очень больно, и очень жалко ее. Но разве что-нибудь изменилось? То, что у него в душе, не мелко и не пошло. Бог вошел и поселился у него в душе. Неужели она, чем бы то ни было, – такая, как она, – может разрушить, оскорбить или хоть коснуться глубины? Ни она, и никто другой не властны оскорбить Бога. Только сам человек, носящий в себе Бога, может Его оскорбить.

Был уже конец февраля, когда Вальцев, проходя светлыми сумерками по Ринг-Штрассе, вдруг поднял глаза и увидал, низко в небесах, серп народившегося месяца. Месяц был узок, как нить, и робко золотился, собираясь закатиться. Вальцев посмотрел-посмотрел, подумал – и решил, что он завтра вечером будет в Венеции. И точно, следующую ночь он уже провел в нежной тишине этого воздушного города.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.